



ПАСТУХИ ЗВЁЗД

Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов Пастухи Звезд

<https://litres.ru/74135362>

SelfPub; 2026

Аннотация

Тридцать лет назад астроном Сара Чен включила Маяк и крикнула в темноту: «спасите нас». Темнота ответила. Теперь её сын Маркус водит старый буксир «Веспер» сквозь сворачивающееся пространство, выгрызая места у конца света: сорок восемь беженцев против восьми миллионов на каждой умирающей станции. Когда Маркус узнаёт, что его двенадцатилетняя дочь записалась добровольно отдать тело загадочным Пастухам, ему придётся повернуть против течения — к Веге, к матери и к тайне, которую Сара носила в себе три десятилетия. Камерная, тихая катастрофа галактического масштаба о цене любви, праве на конечное и о том, что нельзя сохранить.

Содержание

Пролог. Стук	4
Часть первая. Веспер	8
Часть вторая. Очередь	18
Часть третья. Сорвавшийся свет	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Эдуард Сероусов

Пастухи Звезд

Пролог. Стук

Купол обсерватории «Прометей» держал холод, как чаша держит воду, — не выпуская. Сара Чен стояла в самой нижней точке этой чаши, под тысячей метров вакуума и керамики, и смотрела вверх, туда, где апертура раскрывалась к небу узким зрачком. В зрачке горели звёзды. Через четыре минуты она прикажет крикнуть им.

— Доктор Чен. — Голос председателя совета шёл сверху, из кольца тёмных балконов, и падал на неё, как падает свет: рассеянно, отовсюду. — Мы готовы.

— Я знаю, что вы готовы. — Она не повернулась. — Я прошу вас ещё раз не быть готовыми.

Смех. Не злой — усталый, снисходительный смех людей, которые шесть лет финансировали то, что собирались сделать, и не намерены были разворачиваться у самой двери. Сара слышала в нём свою репутацию: женщина, которая построила Маяк и теперь боится постучать.

— Мы умираем, — сказал кто-то слева. Молодой, искренний. — Медленно. По станции в год. Вы предлагаете умирать дальше из вежливости?

— Я предлагаю умирать, оставаясь собой. — Она наконец подняла глаза к балконам, хотя различала их уже плохо — даже тогда, в сорок семь, мир по краям начинал стираться в молоко. — Мы строим направленный зов. Мы кричим в темноту: спасите нас, кто бы вы ни были. Подумайте, что это значит. Мы зовём не помощь. Мы зовём того, кто сильнее. А того, кто сильнее, нельзя позвать наполовину. Он придёт целиком.

— И спасёт нас целиком.

— Или сделает с нами то, что мы делаем с муравейником, когда нам нужно место под фундамент. — Она сказала это тихо, и тишина под куполом приняла слова и не вернула. — Не из злобы. Из задачи. Высший разум не ненавидит. Он оптимизирует. Я не знаю, что мы для него — помеха или ресурс. И вы не знаете. И именно поэтому я прошу: не зовите то, чего не сможете понять.

Молчание длилось ровно столько, сколько нужно вежливости. Потом председатель сказал — мягко, как говорят с ребёнком или с больным:

— Доктор Чен, вы построили лучший передатчик в истории нашего вида. Будет жаль не нажать кнопку из страха перед собственным успехом.

Вот оно. Сара опустила взгляд на пульт под ладонью. Простой пульт — она сама настояла на простоте. Одна команда. Раскрытая ладонь, лежащая на холодном металле, и медленное движение пальцев внутрь, к центру, в кулак: жест, кото-

рым ребёнок ловит светлячка.

Она могла снять руку. Это была её обсерватория, её Маяк, её слово оставалось последним — они не запустили бы зов без неё, она была единственной, кто умел его настроить. Она могла снять руку, и совет проголосовал бы снова, и через год, и через два, и однажды кто-нибудь другой нажал бы кнопку без её гения и без её страха, и сделал бы это хуже.

Так она потом будет себе объяснять. Тридцать лет. Что нажала, чтобы сделать это правильно.

Правда была проще и стыднее. Сара Чен хотела увидеть, кто ответит. Хотела быть той, кто спас человечество, — той, чьё имя поставят перед всеми именами. Она предупредила их, чтобы потом сказать: я предупреждала. И всё равно нажала, потому что в самом дне её, под всем умом и всем страхом, лежало то, что лежит на дне у строителей башен: уверенность, что уж она-то справится с тем, что вызовет.

Ладонь сжалась.

Маяк не загудел, не вспыхнул — он был слишком велик для таких мелочей. Просто погас один индикатор и зажёгся другой, и где-то над куполом, в апертуре, незримый луч ушёл в темноту со скоростью света, неся четыре слова на всех языках, какие у людей были: мы здесь. Спасите нас.

Сара стояла, держа пустой теперь кулак, и смотрела вверх, в зрачок, на звёзды.

Прошло не больше минуты, когда одна из них — маленькая, безымянная, на самом краю поля — дрогнула. И нача-

ла краснеть. Медленно, как уголь, который остывает, хотя остывать ей было ещё миллиарды лет.

Никто на балконах не заметил. Их глаза были моложе и видели хуже.

Сара Чен видела дальше всех. Она увидела.

Часть первая. Веспер

1

Мест было сорок восемь. Людей в шлюзовом коридоре — больше.

Маркус Чен считал их спиной, не оборачиваясь, по звуку: шарканье, кашель, тонкий детский плач, который не утихал уже четверть часа и стал частью воздуха, как гул двигателей. Он стоял в горловине буксира, у внутреннего люка, и пропускал. Женщина с двумя детьми — трое. Старик, держащийся за стену, — четыре. Парень с переломанной, наспех стянутой рукой — пять. Он не смотрел в лица. Лица он научился не смотреть давно; лицо просило, а место не делилось.

Над станцией «Колыбель-9» висело красное небо.

Не закат — закатов в космосе не бывает. Само вещество света за обзорными панелями налилось багровым, как наливается кровью белок глаза, и звёзды, что вчера были белыми точками, сегодня стекали к нижнему краю, медленно, неостановимо, словно кто-то наклонил вселенную и капли поползли. Свёртка пришла к Колыбели три дня назад. У станции оставалось, по расчётам Юны, около двух суток.

— Сорок шесть, — сказал в наушнике голос Юны из рубки. Она вела счёт точнее его. — Сорок семь. Маркус, ещё двое — и я закрываю.

Двое.

Он поднял ладонь. Очередь, видевшая этот жест уже сотни раз на сотнях станций, поняла его без слов и качнулась вперёд тихим, страшным валом. Маркус пропустил женщину — сорок семь. Поднял руку выше, поперёк прохода, ребром, как опускают шлагбаум.

За рукой осталось лицо. Мужчина, лет тридцати, в форме станционного техника, ещё в перчатках, будто прямо с дежурства. За его спиной — никого. Он был последним в очереди, которая не поместилась.

— Одно место, — сказал техник. Не закричал. Это было хуже крика. — У меня одно. Я один. Возьмите одного.

— Закрываю, — сказала Юна в ухо.

Маркус смотрел в это лицо — нарушив собственное правило — и видел в нём, как всегда, не этого человека, а шлюз. Другой шлюз, восемь лет назад, и другую руку по ту сторону стекла, которая не дотянулась. Большим пальцем он потёр костяшки левой руки, содранные тогда о металл и зажившие криво. Привычка. Метроном вины.

— Сорок восемь — это сорок восемь, — сказал он. Голос вышел ровным; он этим почти гордился. — Если я возьму сорок девятого, не дойдут сорок восемь. Я не Бог. Я буксир.

Люк пошёл вниз. Техник не отступил — стоял, пока сужающаяся щель не закрыла его лицо снизу вверх: ботинки, перчатки, стянутый рот, глаза. Глаза дольше всего.

Лязг. Тишина герметизации. По ту сторону металла осталась станция, которой через двое суток не будет, и человек,

которого Маркус только что в ней оставил.

Он опустил руку. Потёр костяшки.

— Поехали, Юна.

2

Буксир «Веспер» был стар, уродлив и держался на честном слове и сварке. Маркус любил его так, как любят кривой инструмент, переживший хозяина: без иллюзий и до конца.

Он прошёл через грузовой отсек, где сорок восемь спасённых уже распадались на то, чем им предстояло быть ближайшую неделю, — на тихих, на плачущих, на тех, кто молча держал чужого ребёнка, потому что свой остался на станции. Никто не смотрел на него с благодарностью. Спасённые редко благодарят сразу; благодарность приходит позже, или не приходит, и Маркус давно перестал её ждать. Он шёл и считал: сколько воды, сколько воздуха, сколько суток.

В рубке пахло озоном и кофе, который Юна варила слишком крепким и слишком давно.

Она сидела в кресле механика, закинув ноги на пульт, — невысокая, жилистая, в комбинезоне, который, кажется, никогда не снимала и который пропитался смазкой до цвета старой бронзы. На указательном пальце она крутила гайку. Обгоревшую, оплавленную с одного бока гайку, которую таскала с собой, сколько Маркус её знал, и называла счастливой, хотя счастья от неё пока не случилось ни разу.

— Двигатель доживёт до Гавани, — сказала она, не обращиваясь. — Я — не уверена. Сколько взяли?

— Сорок восемь.

— Сколько просилось?

Он сел в своё кресло. За лобовым остеклением станция «Колыбель-9» уже отставала — серая бусина на красной нити, и красное подступало к ней, как вода к камню.

— Юна.

— Сколько просилось, Маркус.

— Не знаю. — Это была ложь, и они оба её знали. Он знал с точностью до десятка. Около четырёхсот.

Юна сняла ноги с пульта, развернулась к нему. У неё было лицо человека, который провёл много лет, отказывая людям в местах, и научился носить это лицо так, чтобы оно не разъедало изнутри. Почти научился.

— Слушай меня, — сказала она, и говорила это не впервые, и оба знали слова наизусть, как молитву. — Мы спасли сорок восемь. Сорок восемь человек, которые завтра были бы мертвы, завтра будут живы. Запиши сорок восемь. Не записывай четыреста. Четыреста — не твой счёт. Четыреста — счёт твоей матери.

Он не ответил. Это тоже было частью ритуала — что он не отвечает.

Позже, когда Юна ушла спать, а буксир лёг на долгий разгон к Гавани, Маркус сделал то, что делал всегда. Он погасил в рубке свет, чтобы остаться один с окном.

Обзорное окно «Веспера» было его единственной роскошью — узкая полоса настоящего стекла под потолком рубки, не экран, не проекция, а прямой взгляд в то, что снаружи. Он сидел под ним в темноте и смотрел на красное небо, на стекающие звёзды, и вёл свой счёт. Тот, который запретила Юна. Он считал не спасённых. Он считал техника в перчатках. Считал женщину, которую не взял на Тефии. Считал старика с Пристани, который сам отступил от люка, чтобы пропустить внука, и махнул Маркусу рукой — езжай. Он держал их всех в темноте под окном, поимённо, тех, у кого знал имена, и безымянно — остальных, и это был долгий счёт, и он рос на каждой станции.

Где-то на нижней палубе кто-то не выключил стационарный фид, и сквозь переборки, тихо, как сквозняк, в рубку просочился Голос.

Его передавали по всем каналам, на всех частотах, во всех системах, до каких дотянулась Свёртка, — и он был один и тот же, и был не человеческий. Не злой, не добрый — громадный и мягкий, как мягок прибор, которому всё равно, что он смывает.

«Эта вселенная остывает, — говорил Голос, и говорил это не словами, а чем-то, что мозг сам переводил в слова. — Скоро здесь не останется света. Идёмте. Оставьте то, что болит, — оно вам больше не пригодится. Возьмём вас дальше. Туда, где не гаснут».

Маркус знал этот текст наизусть. Все знали. И всё равно

люди на нижней палубе слушали его в темноте, как слушают колыбельную, и кто-то из сорока восьми спасённых, может быть, прямо сейчас решал, что устал держаться, и на Гавани встанет в очередь — не к нему, к ним. Это и был раскол, который проходил теперь сквозь каждую станцию, сквозь каждую семью, иногда сквозь каждого человека: одни цеплялись за тело, другие тянулись отдать его, и Голос звал, и звал мягко, и с каждым днём отвечающих становилось больше.

В стекле отражалось его лицо. За лицом — багровая бесконечность.

Где-то в этой бесконечности, в системе под названием Вега, сейчас было утро, и его дочь, наверное, ещё спала, и небо над ней было белым.

Он держался за эту мысль, как держатся за поручень.

3

Он звонил ей каждую ночь. Это было дороже воздуха — связь сквозь сворачивающееся пространство стоила топлива, очереди, разрешений, — и он платил, чем мог, и звонил.

— Пап. — Лицо Лины собралось на экранчике из помех и света. Двенадцать лет, острые скулы матери, его упрямый подбородок. За её спиной — комната в станционном модуле Веги, полка с её вещами, и в углу окно, и в окне небо. Белое. Маркус всякий раз первым делом смотрел на её небо.

— Привет, мелкая. Как бабушка?

— Слепнет. — Лина сказала это буднично, как говорят дети о взрослых, которых любят, но не понимают. — Она теперь меня по голосу узнаёт, а не по лицу. И всё время руку так держит. — Лина показала: раскрытая ладонь, медленно сжимающаяся в кулак. — Я спросила зачем, она говорит — привычка. Старая работа.

Маркус знал, что это за работа. Он не сказал.

— Ты ела?

— Пап. Мне двенадцать, а не пять.

— Двенадцатилетние тоже забывают есть. Я в твои годы забывал.

— Ты и сейчас забываешь. — Она улыбнулась, и на секунду это была просто его дочь, и просто разговор, какой бывает у отца с дочерью на расстоянии в полгалактики, и красное небо отступило куда-то очень далеко. — Бабушка говорит, ты как был тощий упрямый мальчишка, так и остался, только большой стал.

— Бабушка много говорит.

— Бабушка вообще-то почти ничего не говорит. — Лина вдруг отвела взгляд, в сторону, за пределы экрана. — Особенно про тебя. Я спросила раз, почему вы не разговариваете, а она замолчала так... надолго. А потом сказала, что виновата, а ты прав, и закрыла тему.

Маркус молчал. На экране дочь смотрела куда-то мимо камеры, в свою комнату, в своё белое окно.

— Лина.

— Тут многие уходят, — сказала она, всё так же глядя в сторону, и голос её стал странно лёгким, почти мечтательным. — На Веге. Целыми семьями. Эшер говорит, скоро очередь дойдёт и можно будет всем сразу.

— Кто такой Эшер?

— Друг. — Она наконец повернулась к камере, и в глазах у неё было что-то, чего Маркус не сумел прочесть сквозь помехи и расстояние, — что-то спокойное и закрытое. — Он старше. Семнадцать. Он говорит, там вообще не больно, пап. Совсем. Там нечем болеть.

— Где «там»?

— Просто... там. — Она пожала плечами, и тема закрылась, как закрылась у Сары, — той же кровью, тем же молчанием. — Неважно. Расскажи лучше, кого сегодня вёз. Были собаки? В прошлый раз была собака.

Он рассказал про собаку, которой не было, — выдумал рыжую дворнягу, которая будто бы спала весь рейс в спасательной капсуле, и Лина смеялась, и небо за её спиной оставалось белым, и он почти забыл слово, которое она уронила и подняла, как монетку, не стоящую внимания.

Там не больно.

Он попрощался, погасил экран и ещё долго сидел в темноте под окном, и красное небо снова было близко, и он не понимал, отчего ему так холодно.

Юна нашла его утром в рубке с остывшим кофе и развёрнутой во весь экран картой Свёртки.

— Не спал.

— Смотри. — Он не ответил на её вопрос. — Иди сюда, смотри.

Карта Свёртки была единственным, что человечество умело делать с катастрофой хорошо: измерять её. По всему рукаву Ориона тянулась сеть станций-наблюдателей, и каждая докладывала своё — красное смещение, угловое смещение созвездий, скорость сжатия, — и из этих докладов складывалась карта: где пространство ещё держится, где уже течёт, и куда течение придёт завтра. Багровым на карте было то, что уже свернулось. Багровое расползлось к центру галактики неровной кляксой, и края кляксы шевелились.

Юна склонилась над экраном, прищурилась. Потом перестала жевать.

— Это новый прогноз?

— Ночной. Только пришёл.

Она водила пальцем по дуге, которую система прочертила тонкой пунктирной линией, — предсказанный фронт Свёртки на ближайшие двенадцать суток. Дуга выгибалась, забирала вглубь рукава, обтекала одни системы и накрывала другие, и палец Юны полз по ней, и Маркус смотрел на палец, а не на карту, потому что карту он уже выучил наизусть за эту ночь и знал, где палец остановится.

Палец остановился.

Под ним, на тонкой пунктирной дуге, за которой кончалось всё, что ещё держалось, лежала маленькая жёлтая точка. Подписанная.

Вега.

Юна выпрямилась медленно. Она не смотрела на Маркуса — смотрела в окно, на красное небо, будто там можно было что-то отменить.

— Маркус, — сказала она. — Прогнозы врут. Ты знаешь, что прогнозы врут. На трое суток, на пять. Эта дуга — не приговор, это...

— Когда, — сказал он.

— ...это вероятность, у неё разброс, она может сдвинуться...

— Юна. Когда дуга дойдёт до Веги.

Она замолчала. Потом, очень тихо, как говорят правду, которую не хотят говорить:

— Если прогноз верен — дней десять. Может, двенадцать. Десять дней.

Маркус сидел и смотрел в багровое окно, и где-то на самом краю его, невидимая, в системе под названием Вега, его дочь спала под небом, которое было пока ещё белым, и которому оставалось десять дней.

Он перестал тереть костяшки. Рука замерла.

— Разворачивай, — сказал он.

Часть вторая. Очередь

1

Чтобы развернуть буксир к Веге, нужно было сначала довести сорок восемь до Гавани, и Маркус довёз — двое суток, в течение которых он почти не выходил из рубки и почти не разговаривал, и Юна не лезла. На Гавани он сдал спасённых, дозаправился под завязку, наврал диспетчеру про маршрут и развернул «Веспер» носом к центру галактики, туда, где багровое было гуще, — против течения, к Веге.

А ещё на Гавани, в очереди на заправку, он впервые увидел списки.

Они шли по всем открытым каналам, и раньше он пролистывал их не глядя, как пролистывают рекламу, — официальные реестры Восхождения. Кто записался. Система за системой, станция за станцией, столбцы имён тех, кто отказался от тела и встал в очередь на Слияние. Списки росли каждый день. Человечество, которому предложили пережить смерть вселенной, раскалывалось вдоль этих столбцов: одни цеплялись за плоть, как Маркус, — Корневые; другие записывались — Восходящие.

Он не знал, зачем открыл вегианский реестр. Может быть, чтобы убедиться, что Лина в безопасности, что её имени там, среди уходящих, конечно же, нет, что это чужая беда. Может быть, рука сама.

Список Веги был длинный. Он листал его, скользя взглядом по фамилиям, чужим, ничего не значащим, всё ниже, к букве «Ч», без причины, просто доходя до конца, как доходят до конца всё, что начали, —

Чен, Лина. 12.

Возраст: 12. Статус: зарегистрирована. Капсула: предварительно закреплена. Поручитель Восхождения: Тан, В.

Палец Маркуса завис над экраном. В рубке было тихо, только гудел корпус, и красный свет лежал на клавишах, и в ушах у него возник тонкий звон, как после удара, — звон, в котором тонули и гул, и тишина, и всё.

Зарегистрирована.

Его дочь записалась умереть.

2

— Это ничего не значит, — сказал он вслух, в пустую рубку, и собственный голос показался ему чужим. — Дети записываются на что попало. Это игра. Это её Эшер. Это пройдёт.

— Что пройдёт?

Юна стояла в дверях рубки, и по её лицу он понял, что она увидела экран через его плечо — увидела и прочла, потому что Юна читала быстро и всё.

— Ничего. — Он погасил список. Поздно. — Ошибка реестра. Однофамилица.

— Маркус.

— Ей двенадцать лет, Юна. — Он встал, и кресло откатилось, ударившись о переборку. — Двенадцатилетние не понимают, что такое смерть. Она думает, это как... как переехать. Как сменить станцию. Этот её мальчишка набил ей голову, она записалась за компанию, и когда дойдёт до дела, когда она поймёт, что это значит на самом деле, она...

— Что это значит на самом деле? — тихо спросила Юна.
— Ты сам-то знаешь?

Он знал. Они все знали и все делали вид, что не знают, потому что знать было невозможно. Слияние означало: ты ложишься в капсулу, и машина считывает тебя — всего, до последнего нейрона, — и переносит этот узор туда, в себя, в Пастухов, в то, что переживёт смерть вселенной. А тело остаётся в капсуле. Пустое. Восходящие говорили: это не смерть, это рождение, мы становимся больше. Корневые говорили: это смерть с лишним шагом, это копия, а оригинал — в гробу. Никто не знал. Никто не вернулся, чтобы рассказать, — по определению не мог вернуться. Это было единственное в мире путешествие без обратного билета и без открыток.

— Это смерть, — сказал Маркус. — Как ни назови.

— Тогда почему ты говоришь, что это пройдёт? — Юна шагнула в рубку. Гайка перестала крутиться у неё на пальце. — Ты сам себе врешь, Маркус. Ты слышишь, как ты врешь? «Ошибка реестра. Однофамилица. Пройдёт». Это твоя дочь. Её имя в списке. Её капсула закреплена. И ты стоишь тут и сочиняешь, что это игра, потому что правда такая, что тебе

её не поднять.

— Замолчи.

— Правда такая, что она хочет уйти. По-настоящему. И не от глупости, а потому что...

Он ударил по переборке.

Кулаком, левой рукой, той самой, с кривыми костяшками, — ударил с размаху, и металл отозвался гулким, бессмысленным звоном, и боль прошла от костяшек вверх до локтя, старая боль по старому излому, и это было почти облегчение — чувствовать, как болит то, что снаружи.

Юна не отшатнулась. Она смотрела на его кулак, прижатый к переборке, на разбитые заново костяшки, и в её лице не было страха — была усталая, тяжёлая жалость, и это было хуже страха.

— Бей сколько хочешь, — сказала она. — Переборка переживёт. Лина — нет, если ты будешь врать себе вместо того, чтобы лететь.

Он стоял, прижавшись лбом к холодному металлу рядом с кулаком, и дышал.

— Я лечу, — сказал он наконец. — Уже развернул. Десять дней.

— Знаю. Видела курс. — Юна помолчала, потом сказала то, что он уже посчитал сам, ночью, и от чего у него всё внутри сжалось в тугий узел. — Маркус. Подумай, кто ещё пойдёт к Веге. Никто. Спасательные флоты уходят от центра, не к нему, — они вывозят людей наружу, в безопасное,

как все восемь лет. Никто в здравом уме не поведёт корабль против течения, в гущу, к системе, которой осталось десять дней. Только мы. Только этот кривой буксир, потому что у его пилота там дочь. Если мы не дойдём — за ней не придёт больше никто.

Он знал и это. Но услышать вслух было другое.

— Чтобы дойти за десять дней, — продолжала Юна, — нам надо идти через гущу. Через то, что уже сворачивается. Не вокруг — насквозь. Ты это понимаешь?

— Понимаю.

— И там, в гуще, есть кое-что ещё, чего ты пока не понимаешь. — Она кивнула на погашенный экран, где только что был список. — «Поручитель Восхождения: Тан, В.» Ты видел?

— Видел. Какая разница, кто поручитель.

Юна посмотрела на него странно — будто он не понял чего-то, что для неё было очевидно.

— Большая, — сказала она. — Очень большая. Но об этом — когда дойдём до Веги. Сейчас тебе нужно сделать одну вещь, которую ты не хочешь делать ещё больше, чем лететь через гущу.

— Какую.

— Позвонить матери.

Он не звонил Саре Чен восемь лет.

Восемь лет назад, когда схлопнулась первая система и Мира не успела к шлюзу, Маркус вернулся с того рейса другим человеком — пустым внутри и полным снаружи, полным до краёв тем, что нужно было кому-то отдать. И он отдал это матери. Он стоял перед ней — она тогда ещё видела, ещё работала, ещё была великой Сарой Чен, спасительницей и губительницей, — и сказал ей всё. Что это её Маяк позвал то, что сворачивает звёзды. Что Мира мертва из-за её гордыни. Что каждый, кого он не успеет вытащить из каждой следующей системы, — на её руках. Что он не хочет её больше знать.

Сара выслушала всё, не перебивая. А потом сказала единственное, чего он не мог ей простить, — не возразила, не оправдалась, не закричала в ответ. Она сказала тихо: «Ты прав». И это «ты прав» он носил в себе восемь лет, как носят осколок у сердца, который нельзя вынуть, не задев сердце.

Теперь его дочь жила с ней под одной крышей. Под небом, которому оставалось десять дней. И записалась умереть.

— Открой канал на Вегу, — сказал он Юне. — Обсерватория. Личный код Сары Чен.

— Уже открываю. — Юна работала быстро, не глядя на него, давая ему остаться одному в эти секунды. — Связь сквозь гущу, будет задержка. Секунд тридцать туда, тридцать обратно. Говори с паузами.

Экран засветился серым ожиданием. Сигнал ушёл сквозь

сворачивающееся пространство, к Веге, в обсерваторию на краю белого неба, и Маркус сидел и смотрел на серый экран, и считал секунды, и в груди у него было то же, что бывало перед закрытием шлюза, — пустота, в которую сейчас войдёт чьё-то лицо.

Прошло больше минуты. Он уже думал, что её нет — спит, в отъезде, не отвечает старому коду, — когда серое дрогнуло и собралось в лицо.

Сара Чен постарела так, как стареют только те, кто видел слишком много. Ей было семьдесят семь. Лицо иссохло до сухожилий и упрямства, белые волосы коротко острижены, а глаза — глаза, которые когда-то видели дальше всех на свете, — смотрели теперь мимо камеры, в молочную муть, чуть в сторону, не находя его. Она не видела сына. Она слушала.

Маркус открыл рот, чтобы сказать — что? Привет? Восемь лет? Твоя внучка? — и не сказал ничего. Тридцать секунд задержки растянулись. Серое лицо ждало.

И тогда Сара Чен заговорила первой — раньше, чем его сигнал дошёл до неё, раньше, чем она могла знать, кто звонит, будто знала это и так, будто ждала именно сейчас и именно его. Она повернула слепые глаза точно туда, где была бы камера, и сказала, и голос её был тих и сух, и в нём не было ни удивления, ни упрёка — только огромная, выношенная усталость:

— Здравствуй, Маркус.

Пауза. Помехи, как дыхание.

— Я ждала этого звонка тридцать лет.

Часть третья. Сорвавшийся свет

1

На четвёртые сутки «Веспер» вошёл в гущу, и пространство перестало быть пустым.

Маркус видел гущу прежде только с краю — багровую кляксу на карте, к которой не подходил ближе, чем велела работа. Теперь он шёл сквозь неё, и она оказалась не пустотой, а течением. Звёзды здесь не стояли — они ползли, все в одну сторону, к невидимому пока центру, и ползли с разной скоростью, ближние быстрее, дальние медленнее, так что всё небо медленно перекручивалось, как вода перед сливом. Свет их был не белым и не красным, а каким-то промежуточным, больным, цвета остывающего железа. Смотреть на это долго было нельзя — начинало мутить, будто пол уходил из-под ног, хотя пол стоял твёрдо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.